



Правила для исключений

Когда сам Дьявол заверял отчаявшегося писателя, что рукописи не горят, он имел в виду, безусловно, стихи или прозу. Что же касается публицистики, отклонённых в своё время журнальных статей, то об их дальнейшей судьбе у нас нет столь авторитетных свидетельств. Вынужденные лежать в темноте ящика, большинство из них испускает, конечно же, дух очень скоро, но бывают случаи, когда, беря в руки старую рукопись, видишь, что она, как ни странно, жива и даже проявляет какое-то своеволие.

с. 33

Двадцать лет назад я писал параллельно два текста — статью о городе для журнала «Декоративное искусство» и заметки о теневой экономике — для себя. Судьба их сложилась почти одинаково: один отклонили,¹ другой превратился в большое исследование, из-за которого меня попросили покинуть аспирантуру.

Но, оказавшись случайно в одной тетради, оба текста со временем так свыклись друг с другом, что однажды я с удивлением прочёл их насквозь, обнаружив общий предмет разговора, исчезнувший при попытке оторвать один от другого.

Возможно, это лишь авторская иллюзия и в читательском восприятии такого сцепления не произойдёт. Что ж, всегда есть возможность вернуться к раздельному чтению — надо лишь пропускать то, что набрано другим шрифтом.

Летом 1956 года на главной площади города Переславля появился маленький цементный слон с поднятым хоботом. Говорят, он сразу стал поливать себя водой, словно призывая переславцев несмотря ни на что следовать его примеру. Скоро городские власти решили, что держать такого несознательного слона в административном центре вроде как неудобно, симпатичный фонтанчик снесли к реке, а площадь оставили пустой: так приличнее.

с. 34

Я серьёзно советую начинать осмотр города именно с этого слона. Не потому, что он представляет собой шедевр монументального искусства, вовсе нет, а потому, что со временем он приобрёл способность выражать настроение и мысли тех, кто на него смотрит. Мне, например, показалось, что скульптор уловил момент, когда слон поднял хобот, чтобы призывно затрубить, что-то возвестить людям, но так и остановился, внезапно осознав бессмысленность этого занятия.

Ещё мне про переславского слона хочется сказать вот что: от времени он пострадал, но как-то не до конца. У него отбит зад, обломаны клыки, выщерблен хобот.

Конечно, мысль, что кто-то не успокоился бы, не доведи он слона до такого состояния, а потом уже перестал его трогать, решив, что всё в порядке, — такая мысль может показаться дикой. И всё же, оглядевшись вокруг, вы замечаете, что именно в этом виде произведение монументального искусства как нельзя лучше вписывается в окружающий пейзаж. Одна скамейка перевернута, другая стоит. Не исключено, что если бы и вторую перевернули, кто-нибудь поставил бы её снова на ножки, потому что это уже воспринималось бы как беспорядок. Не только на берегу Трубежа, а и во всём городе по-осеннему грязно. Приглядевшись, вы замечаете, что как-то не совсем грязно, но ровно настолько, чтобы были испачканы ботинки — с этой целью, например, шоссе заасфальтировано, а боковые дорожки лишь кое-где присыпаны камешками. Потом, погуляв по городу, вы убеждаетесь, что тут не увидишь прямого забора, гладкой стены,

*Невлер, Л. Правила для исключений / Л. Невлер // *Знание — сила*. — 1988. — № 9. — С. 33—41.

¹Статья опубликована лишь в прошлом году под заголовком «Культура хамства». «Декоративное искусство СССР», 1987 год, № 9.

ровной крыши; что всё, что вас окружает, включая одежду людей, носит на себе какой-то ровный налёт морально-физического износа; что всюду непостижимым образом поддерживается общий уровень отклонения от идеального образца. Так что если бы какой-нибудь архитектор решил во что бы то ни стало построить здесь первоклассное «европейское» кафе и даже протащил свой проект через все инстанции, каждый строитель и маляр невольно постарались бы снизить чуждый их сердцу идеал до того же среднего уровня. А если бы наш мифический архитектор проследил буквально за всем, сам доставал краски и составлял колеры, то и в этом случае обслуживающий персонал и посетители общими усилиями, хотя, конечно, неосознанно, привели бы интерьер в соответствие со своими представлениями о культурной норме и тогда уже стали бы поддерживать его в нужном качестве.

Ничего противоестественного в этом, разумеется, нет, и ничего специфически переславского тоже. Переславль отличается от других городов республики тем, что на его территории оказались неповторимые памятники архитектуры, да ещё озером и историческим прошлым, — почему мы сюда и ездим, но об этом после. Сейчас мне хотелось бы только сказать, что если в местной столовой подносят моют так, чтобы под пальцами ощущались следы кем-то пролитого борща, и я говорю, что иначе в этом городе быть не может, речь идёт лишь о том, что работники столовой именно таким образом себе меня и других посетителей представляют (считаю, что человеку можно дать липкий поднос и так далее) и это вовсе не значит, что они к работе плохо относятся. Они так живут, и в их головах содержится такая модель человека, которой всё это соответствует.

Иными словами, в каждом подобном случае, как только вы с ним практически сталкиваетесь, вас естественно тянет обвинить людей в отсутствии культуры, а это неверно. И чтобы понять, что речь идёт об особой культурной норме, надо обращать внимание на нюансы, которыми определяются её границы: забор не повален, а покосился, сидение в автобусе сдвинуто, но не сломано, жига на дорожках не до колен, а лишь чуть выше подошв.

И точно так же: хотя мы возмущаемся как вандализмом случаями разрушения церквей, ни в Переславле, ни в других подобных городах (кроме, кажется, Архангельска) — нигде не было, чтобы разрушили все церкви, хотя это было бы «логичнее». А всегда лишь какую-то инстинктивно отмеренную часть.

В 1960 году около Валов был поставлен гранитный обелиск павшим переславцам. Привожу разговор с архитектором.

— Первое время я отгонял мальчишек. Довольно, впрочем, взрослые ребята садились и откалывали гранит, «кто больше отколет».

— Прекратилось?

— Прекратилось через какое-то время...

Таких фактов можно набрать без числа. Но чем определяется норма, выполнив которую ребята теряют интерес к памятнику?

Возьмём несколько случаев из обыденной жизни переславского музея.

На часовне Крест была установлена новая доска-указатель. Через неделю кто-то выстрелил в неё крупной дробью.

На шоссе (улица Кардовского) поставили щит с указанием направления в усадьбу Ботик. Через пять дней кто-то соскоблил краску лопатой. Не всю, конечно.

Возле самого Ботика информационные щиты уже сделали железными, приварили их к толстым трубам, а трубы врыли в землю и забутили. Скоро все они были наклонены и свёрнуты и могли бы долго стоять в таком виде, если бы работники музея их не сняли.

И так далее.

Пришлось заложить новую стенку, — показывает сотрудник музея, поднявшись на открытую для посетителей звонницу. — Всё время разрушают. И кирпич разбирают, и камень. В Даниловском опять дыра в колокольне. В Петра-Митрополита бесполезно стёкла вставлять. Вставляют для того, чтобы били. Теперь там только решётки.

И тому подобное... Я сознательно не привожу факты, которые могут быть объяснены практическими нуждами, например, мазок свежей масляной краски на иконе XVI века (художник снимал копию, и ему нужно было проверить, совпадает ли тон) или мгновенное исчезновение водомётов сточных труб после окончания реставрации Спасо-Преображенского собора.

Нет, меня интересуют границы обязательных бесполезных разрушений. Именно границы, а не сам их факт. Потому что, не выяснив этой мелкой детали, мы никогда, как мне кажется, не сможем разобраться, к кому же, в конечном итоге, взывают эти безличные городские послания и что выражают в них жители с таким непонятным упорством.

Когда заходит речь о теневой экономике, всех обычно интересуют большие дела — крупные кражи, гигантские взятки, организованные под маркой государственных частные производства. На фоне этих внушительных криминальных действий обычные нарушения производственного законодательства, совершаемые, по признанию хозяйственников, «по многу раз каждый день», кажутся не стоящими внимания. Они запрещены, но практически ненаказуемы, всем известны, но нигде не фиксируемы, морально осуждены, но в каждом конкретном случае нравственно оправданы. Казалось бы, о чём тут говорить?

Между тем как раз сама привычность и будничность этих «добронамеренных», как их любят называть адвокаты, хозяйственных правонарушений и представляет собой, по-моему, нечто весьма загадочное. Сталкиваясь с ними, постоянно ощущаешь себя в атмосфере словно бы всеобщего сговора, круговой поруки, чего-то такого, что всем известно, кроме тебя. Приписки и фиктивные описания, натуральный обмен и оплата за услуги, неучтённые излишки и мелкое воровство... Собирая этот материал, поначалу погрузился в такую стихию подставных действий и ложных обоснований, что кажется — нет ни одного хозяйственного участка, где бы документы, отражающие производственную деятельность, не скрывали под собой чего-то ещё, о чём знают только участники и больше никто. Сколько складов при проверке оказываются забытыми не означенной ни в какой документации готовой продукцией; сколько цехов продолжают работать, когда по всем данным сырьё уже кончилось; какое количество актов о порче, «усушке», «утруске», «усадке» бывает оформлено по всем правилам, кроме одного — соответствия реальности! Соприкасаясь с этими миражами, невольно вспоминаешь слова, сказанные о русском хозяйстве пушкинских времён: «В теории всё настолько урегулировано, что кажется: при таком режиме невозможно жить. Но на практике существует столько исключений, что, видя порождённый ими сумбур противоречивейших обычаев и навыков, вы готовы воскликнуть: при таком положении вещей невозможно управлять!»¹

Самым странным во всём этом хаосе будничных фактов мне всегда казалось отношение к подобным правонарушениям тех, в чью обязанность входит их пресекать. С того, первого случая, когда я, начинающий журналист, был приглашён писать о мясокомбинате, где из 1300 рабочих и служащих при проверке было задержано 1113, не могу забыть ленивого объяснения начальника ОБХСС: «Да если мы будем заниматься теми, кто выносит на пятёрку, на десятку, то до настоящих правонарушений просто руки не дойдут!» Оказалось, ему было нужно лишь поугадать директора, чтобы стал сговорчивей. Но эта облава на миг обнажила реальность, о которой можно было только догадываться, глядя на растущую гору извлечённых из сумок свёртков. Ведь для того чтобы покрыть убыток такого масштаба, необходима ритмичная, налаженная «работа» всего коллектива комбината: приёмщика, занижающего сортность и вес, завцехом, оформляющего убыль от фиктивной заморозки, инженера, внедряющего «скрытую рационализацию», о которой нам лучше ничего не знать, чтобы не потерять способности быть не только исследователями, но и потребителями...

Первое, что бросается в глаза, когда познакомишься с различными примерами допустимых нарушений хозяйственного законодательства, — это, конечно, норма, определяющая пределы допустимого. Каждый мастер знает, на какое количество приписок он, так сказать, имеет право, — как и я, впрочем, знаю, сколько чистой бумаги можно унести с работы домой. Никто нас этому не учил, но какой-то социальный инстинкт подсказывает разницу между негласным соглашением и «настоящим» воровством, тем, что можно оправдать насущностью, и тем, чего уже нельзя.

Эта норма зависит от множества факторов — от статуса работника, местонахождения предприятия, условий производства и, конечно же, от установившейся структуры должностных функций. Она колеблется в тесной связи с периодически применяемыми санкциями. Для правильного её подсчёта (а нам придётся её считать) мы должны будем устанавливать её лишь для повторяющихся, стандартизованных правонарушений. То есть, с одной стороны, для тех бесконечных случаев, где потребность в незаконном деянии действительно была и его объём характеризует максимальную её границу, а с другой — где потребности не было, и мы можем уловить минимальную. Последняя для нас тоже важна, так как определяется потенциальной функцией скрытого механизма: какое-то количество приписок мастер делает даже тогда, когда этого практически не нужно, чтобы не исключать возможности пользоваться этими средствами в будущем.

¹Custine, A. La Russie en 1839 / A. Custine. — Paris, 1843. — V. 4. — P. 172.

Другое условие, которое необходимо соблюдать, чтобы хозяйственное правонарушение попало в разряд ненаказуемых, состоит в том, что люди, его совершающие, должны документально замаскировать его, оформить под какое-то иное, придумать ему «псевдоним» — так сказать, выдержать формальности.

Речь идёт именно о формальностях: неопытному наблюдателю может показаться, что, опасаясь ревизора, хозяйственник вынужден придумывать для своих действий всё новые и новые «псевдонимы». На деле это не так. Если подсчитать, сколько снега убирают рабочие какого-нибудь местного завода при очистке территории, окажется, может быть, что они выскребли чуть ли не весь город. Однако ревизия никогда не обращает на эти цифры внимания: всем ясно, что у предприятия бывают простои, а «очистка территории» — удобная для оплаты графа.

Смысл этого условия, на первый взгляд, ясен: благодаря «псевдониму», контролёр, даже зная о нарушении, оказывается не обязанным на него реагировать. Но анализ конкретного материала показывает, что дело этим не ограничивается. Во многих случаях контрольно-ревизионный аппарат применяет карательные санкции там, где мог бы спокойно без них обойтись, — словно специально для того, чтобы приучить неопытного хозяйственника работать в системе «псевдонимов». Я слышал о множестве конфликтных ситуаций, где человека «обламывали» до тех пор, пока он не жертвовал своими моральными принципами, не обретал навыка, нарушая закон, оформить это нарушение юридически одобренным образом и тем продемонстрировать уважение к законодательству как таковому.

Наконец, третье условие, — без соблюдения которого «ненаказуемое» правонарушение попросту не состоится, — связано с тем, что скрытое хозяйственное действие представляет собой, как правило, не индивидуальное, не изолированное действие, а **взаимодействие** и потому предполагает соблюдение определённых правил и норм поведения.

Запреты, налагаемые на слишком откровенные упоминания о махинациях, как и постоянный обмен услугами или знаками готовности их оплатить, — всё это складывается в особую систему поведения, несоблюдение которой может сделать человека «чужим». На взгляд стороннего наблюдателя, значимость этой коммуникационной системы объясняется необходимостью дележа дохода, оплаты всем, от кого зависит не только проведение тайных операций, но и смотрение на них сквозь пальцы. Однако более внимательный взгляд обнаруживает, что дело этим не ограничивается.

Хотя люди завязывают стихийные хозяйственные контакты, как правило, независимо от взаимных симпатий и культурных привязанностей, их связи чаще всего не остаются чисто деловыми, а предполагают ритуалы общения, которые приучают человека к принятому в данной среде стилю мышления и поведения, накладывают на него свой отпечаток. Работник, его не имеющий, может быть и хорошим, и честным, и любимым товарищами, но однажды ему не сойдёт с рук то, чем другие занимаются каждый день. Почему это так — нам придётся ещё выяснять. Обычные объяснения — что он служит моральным укором или может вдруг донести — слишком обыденны, чтобы на них опираться. Скорее тут нужно предполагать какую-то скрытую социальную функцию, побуждающую всех, сожалея и разводя руками, включать на полную мощность карательный аппарат, чтобы разделаться с человеком, не обкатанным в сфере теневых связей, не способным однажды понять, что закон существует отнюдь не для соблюдения, а для скрытого, нормированного нарушения.

Хаметь (*владимирский диалект*) — понимать, разуметь.

В. Даль.

Толковый словарь живого великорусского языка.

Дизайнер листает красочные журналы (теперь это называется «сбор информации») и проектирует пластиковый киоск. Прямые линии, скошенные углы, козырёк, стекло — а здесь этот киоск смотрится алой вороной, пока его не попортят чисто физически. И чем случайней, тем, конечно, вернее.

Представьте себе, что вы привыкли жить в добротном старом городе, где можно, не стесняясь, ходить в мятом ватнике и забрызганных сапогах и вообще не обязательно соблюдать условности цивилизации, против которых бунтует сегодня европейская молодёжь. И вдруг среди привычной, чуть потёртой обстановки попадает этот необжитый киоск, какой-то геометрически чистый, — не почувствуете ли вы, что он выбивает из-под вас почву для самоуважения? В его форме заключено какое-то совсем другое представление о том, как должен выглядеть достойный человек; своим пластиком он вас джентльменски отрицает, чёрт его подери. Но ес-

ли у него разбито с одной стороны стекло да сбоку приколочена какая-то доска (я описываю киоск возле столовой на Ростовской), тогда уже пусть себе стоит. В общем, надо бы, конечно, спросить специалистов по эстетическому воспитанию, но мне представляется, что во всех подобных случаях вещь варварским способом приспособляется к человеку. Если учесть, что, когда мой коллега вышел на улицу в поисках клея, каждый из опрошенных, где магазин, живо интересовался: «А чего тебе клеить?» — можно предположить, что вдохновлявший автора киоска отчуждённый рационалистический идеал не так уж близок сердцу рядового переславца. И если бы наш дизайнер считал своим нравственным долгом понимать прежде всего тех людей, для кого он проектирует, а не каких-то других, которых, может, вовсе и нет, он, наверное, постарался бы вникнуть в их мироощущение, хотя бы погуляв по городу.

И оказалось бы, что город до последней мелочи скроен вовсе не по тем законам, какие господствуют там, где он «собирал информацию», а каждая улица и изба сделаны со смыслом и со значением, выражая свой идеал бытия и быта, основанный не на расчётливом комфорте, а на трудовой устойчивости, и сработаны так, словно хитрая деятельность времени учтена тут заранее, чтобы становились они от этого роднее и симпатичнее.

Обнаружилось бы, что разного рода покосы, подтёки, трещины, пятна и прочие отклонения от прямой линии и чистой плоскости выполняют тут ту же интегрирующую стилистическую функцию, что завитки в барокко, — создавая особый аромат русского города, который не очень разбирается в том, что мы называем стилем, а запросто ставит пластиковый киоск рядом с дощатым, крашенным коричневым маслом, и уравнивает их на свой особый манер.

Нет, в самом деле — сегодня неловко говорить о красоте старого города, потому что в ответ получаешь: «Попробовали бы сами без канализации!» Но Переславль нас всех к себе привязал вовсе не только монастырями, а как раз тем, что его жители сумели оборудовать такую обстановку для человеческого общежития, в которой оказался эстетически узаконенный реальный образ жизни. Меня, например, поразила крыша, на которую хозяин грубо наколотил три жестяные заплатки без всякого желания их скрывать. Где-нибудь в Европе такая крыша выглядела бы уродливо, а тут — дивно, потому что такое свободное выражение быта больше, чем рядовая картинка, — хороший художник увидел бы здесь предпосылку целого стиля.

Когда мы созерцаем шедевр музейной культуры, ясно, что надо присматриваться к неуловимым нюансам, случайным оттенкам формы, мы стараемся очистить восприятие от предвзятых схем и эстетических нормативов, чтобы вникнуть в уникальное, неповторимое. Но как только речь заходит о быте, да ещё городском, наше зрение становится нормативным: мы напрягаемся, чтобы уловить не то, что есть, а как должно быть (или «как было», что практически одно и то же). И тогда мы видим домики новёхонькими, церквушки отреставрированными, мужичков — с иголочки. Реальный быт нам неинтересен, символического смысла всех этих пятен-трещин-выбоин мы не замечаем, а потом удивляемся, что та же культура, которую мы постарались не увидеть, сказала и в реставрации. И реставрация вышла не такой, как мы себе её мыслили, когда замыслили. Потому что хотя извёстка и напоминает белый камень, но всё-таки гораздо больше она напоминает извёстку.

Между тем реальная бытовая культура выражается не столько в тех деталях, какие мы привыкли схематически схватывать, сколько в совершенно особом характере заполнения целого разнообразными случайностями, которые нам мысленно трудно привести в порядок, потому что их ритм не соответствует структуре нашего мышления. Но если в результате всех нарушений и бессознательных коррективов (ведь вбитый столбик или нестёсанный сучок можно оставить, а можно и убрать, как сделали бы где-нибудь в глухой европейской провинции), если, говоря, рыбацкая слобода наполняет нас интимным чувством умиротворения, это означает, что характер её ландшафта, несомненно, выразил вовне запутанную архитектуру человеческой души, или как там это теперь называется. Урботерапия, то есть лечение усталости путешествиями по старым городам, построена как раз на том, что, оказавшись в таком вот Переславле, современный человек ощущает внутренний и внешний миры в состоянии зеркального равновесия.

Обычно мы вынуждены фильтровать скрытое о себе знание в соответствии с принятыми нормами и представлениями — тут у человека появляется возможность побродить внутри самого себя и убедиться, что всё в его личности священо, и пусть так и будет. А поскольку город в отличие от пейзажа создан в результате долгой коллективной жизни, человек получает как бы высшую социальную санкцию на право быть таким, каков есть, и это вызывает то удивительное чувство умиротворения, какого уже не сможет дать специально перепроектированный Суздаль.

Жители старого города гораздо свободнее приспособливают его к себе, чем мы, живущие в новых районах. Когда нам что-то не нравится, мы смиренно проходим мимо, а Переславль как бы выдаёт своим людям доверенность на включение каждой новой вещи в ансамбль — так что человек, которого раздражает неопробованная доска-указатель, действует словно не от своего имени, а движимый какой-то смутной волей.

В действии этой воли сказываются и коллективные представления о времени, которое обновляет или разрушает и которому надо или не надо противостоять.

В действии этой воли сказываются и коллективные представления о человеке и той обстановке, в которой он не чувствовал бы себя стеснённо.

Я не знаю, как это вдруг оказался защитником современных потомков библейского Хама. Могу лишь сказать, что причины их действий надо искать не только в них.

...Ведь тотальная модель плановой системы хозяйствования требовала для своего осуществления как минимум двух предпосылок.

с. 38

С одной стороны, она предполагала чёткую и бесперебойную работу всех без исключения производственных участков в полном соответствии с планом, ибо срыв на одном предприятии в этой системе должен был неминуемо вывести из строя последовательно расширяющуюся сеть связанных с ним.

С другой — она требовала полной компетентности централизованного руководства во всех деталях повседневной хозяйственной жизни, так как нормативная модель, лежавшая в основе строгих должностных предписаний, не предусматривала резервных и аварийных механизмов для ликвидации производственных срывов, не предписывала иных способов поведения в критических ситуациях, кроме обращения к той структуре, которая к этим срывам привела.

Не надо вспоминать обстоятельств хозяйственной жизни тридцатых и пятидесятых годов, чтобы сказать, что и первое, и второе условие были вовсе невыполнимы: они нереальны и в наши дни. Но не нужно и думать, что это могло бы остановить тех, кто руководил привязкой нормативной модели хозяйствования к сложным социально-производственным условиям тех лет. Потому что её нереальность казалась и временной, и несущественной рядом с той функцией, которую ей было предписано выполнять: связать и спаять экономику с идеологией, хозяйственную деятельность с политической, дневную выработку каждого работающего — с конечными целями социального развития.

А поскольку функции эти могла выполнить только чистая, не знающая компромиссных примесей нормативная модель, то надо было наладить такой скрытый механизм преодоления хозяйственных неполадок, который обеспечивал бы её непричастность к любым производственным срывам.

Иначе говоря, задача, решаемая с самого начала, заключалась не в том, чтобы приспособить идею тотального управления к жизни, а в том, чтобы доказать её жизнеспособность.

Об этом не говорилось на совещаниях, не писалось в статьях и отчётах; возможно, это даже не очень осознавалось в напряжённой обстановке тех лет, когда каждое сомнение (не говорю уж прямое слово) кончалось устранением работника из сферы открытого производства вообще. Но всё, о чём ни говорилось и ни писалось, материализовалось в скрытом подполье хозяйственной деятельности: именно в эти годы суждения типа «какой же ты, к чёрту, директор, если не можешь выполнить план?» становятся главной частью нового стиля экономического управления.

Осознанно или нет, но деятельность по ликвидации срывов надо было сделать одновременно и запрещённой, и поощряемой. Изначальная задача состояла в том, чтобы найти такой механизм преодоления хозяйственной стихии, при котором виновником срыва всегда мог оказаться конкретный работник, — словно роль, которая ему законодательно и инструктивно предписана, обеспечивала налаженную и ритмичную работу данного производственного участка, а причиной срыва было лишь отклонение от жёстких ролевых предписаний.

Именно такую задачу взяло на себя скрытое хозяйственное взаимодействие. Будучи ориентировано на погашение каждого срыва как частного, локального, оно, в свою очередь, ориентирует на усмотрение локальной причины срыва и тем охраняет чистоту открытой системы плановой экономики.

Поначалу вся эта невидимая аварийная работа осуществлялась исключительно политико-административными методами. И хотя со временем многие из них были заменены теневыми экономическими, мы не должны забывать об этом их изначальном происхождении. Ибо люди,

которые ассоциируют нашу теневую деловитость с западной предприимчивостью, весьма ошибаются в определении её социальной природы. Знакомство с системой скрытого хозяйственного взаимодействия всё время вызывает у социолога ощущение какой-то отлаженной подпольщины, конспиративной хватки, каких-то уходящих в прошлое традиций, заставляющих и директора, который стремится лишь выполнить план, и руководителя, строящего себе дачу за государственный счёт, пользоваться буквально одними и теми же механизмами, совершать действия одного и того же типа.

Здесь нет места подробно описывать, как складывалась эта довольно налаженная сегодня система скрытых излишков, люфтовых механизмов и межличностных связей, дополняющая открытую структуру планового хозяйства и взаимодействующая с ней. Именно она помогает выполнить план, когда нет поставок, отремонтировать помещение, когда краски по фундаментам хватило бы лишь на одну стену, заплатить рабочим за сплошные простои, причём делать всё это втайне и рапортовать лишь о конечных успехах. Именно эта система заставляет каждого, кто ею привычно пользуется, приберегать её спасительные механизмы на будущее, отлаживать их и «подпитывать», но она же бессознательно ориентирует хозяйственных работников на поддержание среднего уровня безалаберности и бесхозяйственности.

В результате мы не встретим сегодня производственного участка, который работал бы без постоянных трудностей и который, в свою очередь, не создавал бы осложнений другим. Определённый «развал» хозяйства действительно становится нормой, и экономисты, знакомые с цифрами, характеризующими масштаб бесхозяйственности, высказывают естественное беспокойство.

Однако если смотреть с точки зрения структуры как целого, эта растерянность проистекает не только от реального состояния дел, но и от того, что приёмы мышления наших экономистов лучше всего приспособлены к исследованию буржуазной экономики прошлого века.

Буржуазная экономическая наука ориентирована на борьбу с кризисами, потому что кризис парализует капиталистическую систему, разрушает чуткую и изменчивую хозяйственную структуру, приспособленную исключительно к работе в режиме благоприятствования.

Условием жизнеспособности социалистической системы хозяйствования с самого начала было иное отношение к кризису: она ведь должна была укрепляться и совершенствоваться за счёт скрытых механизмов в ненормальных экономических условиях. В результате те срывы, которые разрушали бы капиталистическую структуру, проходят тут незамеченными; некомпетентные руководители, решения которых на Западе приводили бы к краху и банкротству, могут спокойно выполнять административно-идеологические функции. И мало того, стал действовать даже парадоксальный закон, согласно которому двойная экономика, отрабатывая способность к нормальной работе в условиях постоянно воспроизводимого лёгкого кризиса, становилась тем устойчивее, чем большие срывы она научалась погашать как частные, локальные и, следовательно, чем больший разлад она допускала на отдельных участках.

У нас нет ещё данных для построения полной модели такой экономики — с неподвижной структурой снаружи и изменчивой системой потайных люфтов внутри. Строя подобную модель, нельзя забывать ни о функциях бюрократического аппарата, создающего правила, предназначенные для нарушений; ни о задачах контрольно-ревизионной службы, удерживающей экономическую стихию на уровне полукриминала; ни, наконец, о роли нормативной науки, призванной в этих условиях не столько исследовать реальность, сколько скрывать её.

Всё это — части единой системы, и её как систему предстоит изучать. Если что и составляет главную трудность подобной модели, это отнюдь не расчёт взаимных функций, а то место, какое система отводит мне, человеку. Ведь сводить открытую и скрытую структуры она поручает личности, каждому работнику на своём месте.

С точки зрения личности, требования, предъявляемые официальными правилами, и нормы, принятые в сфере межличностных связей, выступают как нечто несовместимое. Находить «рацию», то есть пропорцию, между тем и другим можно, лишь став человеком совершенно особого типа. Где-нибудь на Западе люди называют бизнесом то, что мы — спекуляцией, но они и делают это с достоинством. Где-нибудь на Востоке человек полагает, что обычай выше закона, но и он не смущён двоемыслием. Рядом с подобными «казусами» поведение хозяйственника, всерьёз убеждённого, что закон есть закон, и тем не менее нарушающего его «по многу раз каждый день» (из интервью), кажется не поддающимся постижению. Однако как социологи мы понимаем, что, только участвуя сразу в обеих структурах, он может дозировать их сочетание, находя каждый раз тот выход из ситуации, о котором лучше всего сказал мне начальник УБХСС: «Понимаете, мы всё время имеем дело с талантливыми людьми».

с. 40

Привыкнув существовать в ситуации сшибки — когда то, что требуется планом и руководством, нельзя сделать, но нельзя и не сделать, — люди научаются нестандартному мышлению, обретают способность, нарушая закон, уважать его нормы и, оставаясь внутренне честными, поддерживать полупреступные связи. Какие комбинации, какие решения происходят от таких сочетаний, у меня нет сейчас времени рассказывать. Могу лишь признаться, что, занимаясь современным искусством, я не видел у наших художников такой красоты.

Но если, выйдя с работы на улицу, кто-то вдруг шуранёт лопатой по музейной доске, приглашающей вас в петровский Ботик, не судите его слишком строго. Это — послание небесам.

...И тут я увидел на бровке над озером около Горицкого монастыря типовые дома.

Слева — изящный монастырь, справа — два тупых дома. Вся композиция выглядит теперь по типу «было — стало».

Казалось бы, не надо оканчивать институт, чтобы увидеть: что было дивно, стало дико; что эти дома запроектированы без учёта масштаба, силуэта (кстати сказать, и без разрешения); что их следовало бы поскорее разобрать и собрать где-нибудь в другом месте, где бы их совсем не было видно.

На совещании в горкоме, правда, высказывалось предложение срезать два этажа. Если учесть, что дома четырёхэтажные, такое решение вопроса выглядит явно половинчатым.

Но мы должны сейчас проанализировать эти произведения архитектурной мысли во всём их объёме — не только потому, что подобная композиция может сегодня считаться типовой, а для Переславля символичной. Главное — она имеет прямое отношение к заявленной выше теме.

Издали. Дома стоят мощно, весомо, грубо; стоят на поверхности, а не вырастают из земли, и царят над миром, а не сливаются с ним, как это делал старый город. Прямая линия и прямой угол говорят о прочной вере в разум, успокоившийся на четырёх правилах арифметики. Один бесконечно повторенный оконный переплёт наводит на мысль, что из всего Маркса авторы поняли только «про архитектора», который отличается от пчелы тем, что последняя решает жилищную проблему без типового проекта. Наконец, всё вместе символизирует победу массового комфорта над природой, которая теперь тоже проектируется как комфорт, по крайней мере — вид на озеро из окон этого дома.

Подойдём вплотную. Стена, которая издали казалась чистой математической плоскостью, грубо сработана из мертвенно-серых кирпичей всех оттенков вперемешку, заляпанных засохшим раствором. Ни эта стена, ни красный оконный переплёт, ни отделка ни у кого не вызовут хулиганского инстинкта: уровень культуры учтён тут с самого начала. Строго выдержанная норма небрежности создаёт представление о человеке, для которого всё это выстроено. Рассматривая здание с точки зрения жителя, мы видим, что это тот самый горожанин, кому полагались липкие подносы и грязь на дорожках.

Сравнивая теперь оба впечатления, можно заметить, что они не совсем друг на друга накладываются. Издали архитектура казалась строго рационалистической — вблизи обнаружили лишь случайности и огрехи, иррационализм непредвиденного.

Если бы такое несоответствие было намеренным, его следовало бы проанализировать как художественную идею. Но поговорите сегодня с любым специалистом, и вы поймёте: никакой такой идеи заложено не было. Вы услышите жалобы на нормы, лимиты, обстоятельства. Вы увидите перед собой человека, который всё понимает не хуже вас, с той лишь разницей, что твёрдо уверен: ничего поделать нельзя.

И снова возникнет смутное чувство, будто действует какая-то необоримая сила, которая заставляет человека с лучшими намерениями делать совсем не то, что выражало бы его представление о должном и допустимом, а приводит любую идею в соответствие с мистической нормой порчи — так, чтобы именно в этом виде типовые коробки соревновались с прославленными творениями русского зодчества и подавляли их масштабом и мощью.

Обыкновенно при анализе новой застройки пользуются негативными суждениями типа «разрушен масштаб», «не учтён силуэт», но это неверно. Ведь не совсем нарушается масштаб старого города, а каким-то особым образом. Да и если бы наши зодчие ставили новые дома без всякого чувства масштаба, разве могло бы так случиться, что в разных городах, друг с другом не связанных, они, не сговариваясь, нарушают масштаб как-то совершенно одинаково, словно пользуются единым коэффициентом нарушения масштаба?

1969 год.

Сейчас многое выясняется. И, в частности, что мы давно не знали, что делали. Думали одно — делали другое. Думали, строим колхозы, а теперь говорят: ликвидировали крестьянство. Казалось, укрепляем развитой социализм, а на деле оказалось: пребывали в застое. И так далее каждый раз. Засучив рукава, подгоняя друг друга, напрягались как могли, а зачем только потом и узнавали.

Перепечатавая из старой тетради записи шестидесятых годов, я, разумеется, чувствовал их наивность. Сегодня на сходные темы принято писать гораздо круче: «...И мы разучивались растить хлеб, тесать топором, завинчивать простые шурупы, заколачивая их молотком... В краски мы чего-то там недомешиваем, в клей чего-то недосыпаем, дерево недосушиваем, резину недорезиниваем, машинам недодаём микронов» и так далее в разных вариантах.

Однако во всех подобных самообличениях сквозит одна мысль, которая мне вовсе не кажется убедительной, — что стоит создать экономические стимулы, и всё снова станет на свои места: шурупы начнут заворачивать, покупателя перестанут обманывать, а продукты сами собой дойдут до кондиций стандартов.

Представление о социально-психологической функции порчи не укладывается в общественном сознании. Способность теневых социальных наростов выживать и мимикрировать не оценивается по достоинству.

с. 41

С точки зрения энтузиастов хозяйственной реформы, достаточно заменить механизмы административного управления чисто экономическими, и выход найден. Они забывают, что даже на Западе стихийное регулирование представляет собой скорее идеологию, чем реальность, что скрытые механизмы коррупции, монополизации, административного патронажа и там выполняют важнейшую регулятивную роль, осмысление которой погашается лишь требованиями чистоты социальной идеи. Когда же подобная идеологизированная модель погружается в условия, которые вовсе не могут считаться для неё подготовленными (особенно если учесть этику хозяйственных взаимоотношений, нарабатанную в период двоемыслия), то спрашивается: на какие новые механизмы адаптации идеи к реальности идёт расчёт?

Либо мы снова запускаем условно идеальную модель, чтобы с помощью разного рода нарушений, отклонений, исключений, проломов и выбоин придать административной идее жизнеспособность и устойчивость. Тогда вопрос, что же мы делаем на самом деле, лучше пока не задавать. Когда-нибудь дети скажут.

Либо... Но это потребовало бы медленной, внимательной, скрупулёзной работы по отслеживанию незаметных коррекций, которые вносит жизнь в наши схемы и которые кажутся, к сожалению, чем-то мелким, неважным, само собой разумеющимся. Однако именно в этой второй, скрытой жизни уже сегодня можно искать ответы на будущий детский вопрос.